

Татьяна Соломатина

ВЫШНЁВАЯ · СТОЛА

Полудетский роман

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6
КТК 610
С60

Текст печатается в авторской редакции.

Оформление обложки
Владимир Камаев

Соломатина, Татьяна Юрьевна.

С60 Вишнёвая смола : полудетский роман / Татьяна Соломатина. — Ростов н/Д : Феникс, 2022. — 208 с.

ISBN 978-5-222-36262-4

Пронзительное, искреннее повествование, очень личное и очень понятное каждому. Лёгкое, трогательное и ёмкое. Роман о сопричастности тайне вишнёвой смолы, о неизбежных трагедиях и нелепых случайностях и об океане счастья. О том, с какой готовностью мы меняем вечное на сиюминутное. Об огромной душе маленького человека, в которой ещё нет места ничему плохому, только любовь. Любовь, которую стоит сохранить в себе на всю жизнь во что бы то ни стало!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2= 411.2)6

ISBN 978-5-222-36262-4

© Соломатина Т. Ю., текст, 2021
© Камаев В. В., дизайн обложки, 2021
© ООО «Феникс», оформление, 2021

*Плачут люди, собаки и кошки.
Птицы, я гумаю. И мыши немножко.
Не плачут деревья, море и камни.
Море само — это слёзы в лохани.
Камни прочны и горды изначально.*

*А вот у деревьев странное свойство:
И соки, и смолы в них, и беспокойство —
Всё как у нас, но не плачут они,
Вроде живые и вроде сродни.
Что же им делать с печалью?*

Р4ШНЕР9
Б!ББА7.
СМАА

Я стою под старой вишней на Восьмой станции Черноморской дороги.

С Девятой изредка сползают ужасно переполненные трамваи. Ливень согнал пляжников с моря. Ну вот, опять двадцать девятый! И опять «одинарный»! Мама ругается с трамваями и с теми, «кому делать нечего, как только из города в Черноморку переться!». Какой смысл ругаться с трамваями, набитыми потными отдыхающими? Но мама ругается с ними как бы понарошку, не всерьёз. Всерьёз мама ругается с тётёй Олей, из-за которой мы «должны тащиться в город!». Тащиться в город мы вовсе не должны. И уж совсем не из-за тётёи Оли. Мама и тётёя Оля обычно очень любят друг друга, потому что они родные сёстры. Но периодически у них «срывает резьбу», как это называет тётёи-Олин муж, дядя Коля, — и родные сёстры начинают выяснять, кто лучше живёт, кому родители больше помогли и помогают — и всякое такое, что иногда любят громко и даже с каким-то странным болезненным удовольствием повьяснять взрослые люди. Смешно, честно говоря. Хотя именно честно им лучше ничего не говорить, потому что окажешься в лучшем случае «сильно умная!», а в худшем — «плохой» или «избалованной девчонкой», что странно. Потому что как раз плохие девчонки обманывают и как раз избалованные ругаются из-за ерунды. Уже такие большие тётёи, а всё ещё считаются — кого папа и мама больше любят. Или вот: что у моей мамы старое пальто, а у тётёи Оли — новая шуба. Как глупые маленькие девочки! Впрочем, сколько себя помню — наблюдаю: мир несправедлив. Прекрасен,

но несправедлив. В смысле, мир сам по себе — прекрасен. А мир людей — несправедлив и ещё... Как его?.. Нелогичен, вот! Логика — это такая справедливая последовательность. Например: если ты сажал редиску, то тебе её первым и есть. Но ничего подобного! Ты посадил редиску, а первым её ест твой двоюродный брат, не имевший к посадке редиски никакого отношения. А тебе ещё и говорят: «Ну чего ты ревёшь?! Ты же любишь сажать редиску!» Вообще-то, ты её ещё и есть любишь. Но ты живёшь и тут, и в городе. А двоюродный брат живёт только тут. И ты любишь сажать редиску. А он — нет. Он её любит только есть. И на твой справедливый рёв возмущения нелогичностью этого мира тебе же ещё и несправедливо замечают: «Ну чего ты ревёшь?!» Глупые какие! От обиды, конечно. Но если им сказать: «От обиды, конечно!» — они так и начинают покатываться с хохоту. И затем говорить: «Тебе что, редиски братику жалко?! Да этой редиски будет и будет — ещё надоест!» И очень хочется сказать: «Да! Жалко! Жалко мною посаженной редиски для не сажавшего её двоюродного братика!» Во всяком случае, первой. Вот когда «будет и будет» — пусть ест на здоровье. А первой — самой первой! — редиски никогда уже больше не будет! Потому что самую первую, необыкновенную редиску, которой никогда-никогда больше не будет, сожрал твой мерзкий двоюродный брат. Ты что-то делаешь — и тебя же стыдят. Двоюродный брат не делает ничего — и его защищают. Вот это и есть несправедливая нелогичность, которой полон мир людей. Но не сам по себе мир. Хотя, если разобраться... Идёшь на море в прекрасном настроении — а там вода холодная! Но мир без людей не говорит: «Тебе что, холодной воды морю жалко?!» Да и не ты туда воду наливала. Так что если разобраться — мир без людей пусть и не слишком логичен, но хотя бы справедлив. Как минимум — не несправедлив.

— Не ешь вишнёвую смолу!

Ну конечно! Сейчас не только ливень и отдыхающие таким странным способом — толкаясь в набитых трамваях — будут

виноваты в том, что мама повздорила с тётёй Олей. Сейчас и я, и вишнёвая смола, и даже само по себе небо без ливня — будут в этом виноваты. И хорошо бы только в этом!

— Мама, а я читала, что всякие аборигены разных там островов и амазонок так зубы чистят — жуя смолу. Или расщеплённой палочкой.

— Читать выучилась на мою голову! — ворчит мама уже не так зло.

Вообще-то, мама гордится тем, что я на её голову выучилась читать. И уже давно — два года назад. Мама обыкновенно всем хвастает, что я уже два года как выучилась читать, а мой двоюродный брат до сих пор даже буквы не знает. Тётя Оля на неё за это обижается, потому что хвастает мама моим ранним чтением в основном при гостях. Мне дают «Правду», или «Известия», или «Учительскую газету» — и я читаю вслух передовицу. А у гостей такие выражения лиц, как будто они уксусу хлебнули, но при этом улыбаются. Наверное, чтобы не сесть в лужу. Я как-то раз сама хлебнула уксусу, чтобы понять про это вот: «Как будто уксусу хлебнул!» Выражение своего лица я не видела, но было страшно кисло. И тут в кухню вошла бабушка! А я стою с бутылкой уксуса. Во рту противно. Но я сразу улыбнулась.

— Желудок сожжёшь! — ахнула бабушка и отобрала у меня бутылку.

Странно. Что-то сжечь можно только спичками. Спичками, поднесёнными к чему-то сухому. А уксус — он мокрый. Желудок — вообще внутри, до него зажжённую спичку не донесёшь, она во рту погаснет. Я опыт поставила. Уже после уксуса. На двоюродном братике, разумеется. Сама я спичек боюсь. Я ему сказала зажечь спичку и засунуть её в рот. Он почти ничего не умеет, этот отвратительный двоюродный брат, а спички зажигать — умеет. Ещё всё ломать и рушить умеет. И мусорить. И лопать посаженную мною редиску! И вот он целый коробок извёл — спички во рту гасли, а желудок так

и не загорался. Жаль. Если бы у него сгорел желудок или хотя бы рот, он бы не ел мою первую редиску. Мою! Потому что кто сажает — того и редиска!

В общем, выражение «как уксусу хлебнул» — это кислое выражение, насколько я из личного эксперимента с уксусом поняла. Вот с таким выражением гости и слушали, как я читаю передовицы. В передовицах (передовица — это такая статья, что у газеты спереди) — скучные бессмысленные слова. Так что гостей я понять могу, но в детских книжках или даже в моей любимой теперешней дедовской книге «К другим Тассили» — шрифт слишком крупный для того, чтобы мама мною гордилась. А в передовицах он как раз такой — подходящий для маминой гордости. Наверное, именно поэтому мелко и печатают — всё равно скукотища страшная, никто не читает, чего зря много места переводить? Гости кисло выслушивают — я всегда стараюсь побыстрее прочитать, чтобы они не мучились. А затем преувеличенно восторженно хвалят, как будто я не девочка, а глупая собачка. Один раз я как-то поверила, что хвалят от души, и одного дяденьку, что аж в ладоши хлопал, спрашиваю:

— А хотите, я вам прочитаю про Та-н-Тартаит и И-н-Итинен, раз вам так понравилось, как я читаю?

Дяденька мне отвечает вопросом на вопрос:

— Ой, а это ты сама такую тарабарщину выдумала?

— Да нет же! — говорю ему. — Это из «К другим Тассили».

— Зачем же это к другим тассили? Тассить — так уж к своим! И что, дотассили или не дотассили? — захохотал дяденька, жутко довольный собой. Потому что другие гости за столом тоже захотали.

Этот дурак подумал, что я букву «щ» не выговариваю. Взрослые люди иногда ужасные дураки. Даже чаще всего! Вот отчего это: «Не ешь смолу!»? А вот оттого это: потому что маме так захотелось. И потому что взрослые могут захотеть для детей чего только

им, взрослым, заблагорассудится. И ничего дети с этим их взрослым захотением сделать не смогут. Пока не вырастут. Иногда и когда вырастут — не смогут. Вот хочет дедушка, чтобы все сидели вечером за столом, а у тётки Оли голова болит. И что? И всё равно она идёт за стол, потому что дедушка — тиран и диктатор. Так тётка Оля и мама говорят, когда дедушка не слышит. Как по-моему, так дедушка никакой не тиран. И не диктатор. Если честно — по-моему, — так и никакая голова у тётки Оли не болит. Просто она так говорит, чтобы дедушка не то оценил её подвиг, не то мучился совестью: у его дочери голова болит, а она всё равно за стол идёт. Но честно с ними нельзя — это надо помнить. Хотя дедушка честно-честно всё знает. И то, что они про него говорят, что он тиран и диктатор, когда он не слышит. И то, что у тётки Оли голова болит не потому что болит, а чтобы дедушка оценил подвиг и мучился совестью. А он не ценит и не мучается. Потому что всё про них знает. Моя мама или умнее, или трусливее. Потому что у неё недалеко от дедушки голова никогда не болит. При папе — сколько угодно. При дедушке — ни разу. И ещё она с дедушкой никогда не скандалит, как тётка Оля. Потому что переорать дедушку невозможно. Так зачем горло драть? Кстати, «драть горло» — это не фигура речи. Если громко орать, то горло по-настоящему дерётся. Я однажды попробовала очень громко орать — и охрипла, потому что горло подралось. То есть сначала мы с моим двоюродным братом подрались — мы часто дерёмся, но тогда подрались очень серьёзно, — и я стала так орать, что даже горло подралось и я охрипла. Вообще-то я сильнее двоюродного брата и легко могу его побить. Но когда я его бью — мне всегда влетает. Не в том смысле, что меня кто-то бьёт — меня никто никогда не бьёт, даже по их понарошковой попе. Но мне влетает долго и занудно — словами. Долгими и занудными мамиными словами про то, что я умнее и должна уступать. Почему же это те, кто умнее, должны всегда уступать?! А если мой двоюродный брат меня убить захочет? Так я что, оттого что умнее, должна ему уступить — и пусть убивает? Тогда все умные вымрут и на свете останутся только те, кто глупее. Потому что умные от большого ума взяли да и уступили.

Я дедушку спросила, должны ли умные уступать. И что же он ответил? Дедушка ответил, что не всегда! Мама мне постоянно говорит про то, что она старше и умнее меня (хотя сама мне никогда не уступает, ха-ха!). А дедушка старше и умнее мамы (и, кстати, он мне частенько уступает). Короче, мир состоит из очевидных противоречий. Для дураков. Для тех, кто умнее, — если покопаться, то некоторая логика и последовательность обнаружатся. И значит, справедливость есть. Но только не для маленьких. Не знаю, есть ли она для больших. Много раз спрашивала. Папа начинал бубнить свою бубню. Мама наказывала отстать с глупостями. А дедушка говорил, что справедливости нет, потому что то, что для кого-то справедливость, для другого — вопиющее наоборот. Мне очень тогда понравилось это выражение, и я его несколько дней повторяла. Мама меня спросит: «Хочешь молока?» А я ей: «Вопиющее наоборот! Хочу кефира!» А папа говорил, что кефир молоку вовсе не вопиющее наоборот, а продукт брожения. Вообразить себе не могу, где мог бродить кефир, но папа хоть и нудный, кое-что об этом свете знает. И раз он говорит, что кефир бродит, — значит, где-то этот кефир бродит. Хотя когда бродит молоко — получается вовсе не кефир, а простокваша. Ни у кого нет точных, коротких и понятных объяснений существующим знаниям. До всего самой приходится доходить. Бродить, бродить — и доходить. И когда сам добрёл, то понимаешь, что вопиющее наоборот молоку действительно вовсе не кефир, а кусок смолы. Только не вишнёвой, а строительной. Такой, что сперва варят в чанах на стройках, а потом её застывшие куски долго валяются вокруг этихстроек. Молоко — белое и жидкое, и съедобное. Строительная смола, которая уже не в чанах, — чёрная, твёрдая и несъедобная. Так что вскоре я перестала говорить про «вопиющее наоборот» слишком часто. И употребляла только по делу. Когда меня спрашивали, например, не хочу ли я с двоюродным братиком поиграть. Вот тут я всегда была готова на самое вопиющее наоборот, вплоть до с совершенно чужим взрослым человеком посерьёзничать.

— Где ты опять летаешь?! Ну что за рассеянный ребёнок?! Не ешь смолу! И в карман не клади! Вечно натащишь домой муравьёв, а я потом их выводи.

Вовсе не вечно, а только летом. Если бы лето было вечно, как в Сахаре, — мамины слова были бы справедливы. Но в Сахаре наверняка нет старых вишен. Во всяком случае, в моей текущей любимой дедовой книге ничего нет про старые вишни. Зато там много цветных картинок, карт — которые тоже не что иное, как красивые картинки, но по ним ещё, в отличие от просто картинок, можно много чего найти. Есть непонятные слова, которые приятно понимать, узнавая. И даже целые забавные предложения. Например: *«Кажется, я вам кое-что обещал, но я тогда был не бог весть кто; теперь я министр и могу исполнить обещание»*. Если такие предложения запоминать, они бывают очень полезными. Например, когда мама не разрешает навестить Серёжку. Маме надо сказать: «Я обещала навестить Серёжку!» Мама ответит: «Нечего тебе делать в больнице!» После этого надо сделать вид, что вот-вот расплачешься, — такой вид делать нетрудно, когда на самом деле вот-вот расплачешься, — и сказать маме: «Но я же обещала!» Мама скажет: «Мало ли кто кому и чего обещал!» Тогда надо на самом деле расплакаться и поверх льющихся слёз чётко процитировать (цитировать — это в точности пересказывать чужие умные слова): *«Кажется, я вам кое-что обещал, но я тогда был не бог весть кто; теперь я министр и могу исполнить обещание»*. А потом ещё больше расплакаться и, перед тем как перейти на надрывный рёв, сказать маме: «Боюсь, Серёжка не будет жить до тех пор, когда я из невесть кого стану министром! Вы с тётей Олей постоянно шепчетесь, что он не жилец!» — и после этого рыдать взахлёб. Мама грустно улыбнётся и скажет: «Ладно, я подумаю!» И даже добавит: «Ты хорошая девочка. Иди».

Взрослые, когда не идут с нами, детьми, всё время хотят, чтобы мы куда-то шли. В комнату. На улицу. За стол. На бережок. С бережка. В воду. Из воды. Как будто, когда мы не идём рядом со взрослыми, мы им страшно мешаем уже только тем, что находимся рядом, не идя.

Даже если находимся рядом с ними, не идя, — очень тихо. Иногда страшно хочется стать невидимкой и потихоньку подсмотреть, чем они таким важным занимаются, отослав нас в комнату «играть» или во двор «дышать воздухом». Можно подумать, что воздух не везде один и тот же! Впрочем, не буду несправедлива: иногда взрослые стойко переносят присутствие детей. И дети могут и играть, и дышать не у себя в комнате и не во дворе, а прямо в присутствии взрослых. Правда, дышать надо незаметно, не сопеть. А играть во что-нибудь «подходящее»: в чтение книги, в рисование в альбоме (не раскидывая карандаши и фломастеры!), в конструктор или в кукольный домик (только чтобы детальки от конструктора и мебель из кукольного домика не вылетали за периметр твоего ареала). «Периметр ареала» — красиво, да? Это не мои слова, и обычно взрослые такими словами с детьми не разговаривают. Когда взрослые хотят сказать детям, что им нельзя за периметр их ареала, то они говорят: «Сиди вот здесь и ничего не разбрасывай!» Мне кажется, если бы взрослые говорили нам, детям: «Не выходи за периметр ареала», то мы, дети, охотнее бы сидели где скажут и ничего-ничего не разбрасывали бы. Потому что про периметр ареала — это звучит таинственно и красиво. А следовательно, не так оскорбительно — во всяком случае, по форме. Хотя по сути...

Вот — по сути — моей маме всё равно, ем я смолу старой вишни или нет. Но мама раздражена ссорой с сестрой. Тем, что она из-за этого (хотя на самом деле из-за себя и только из-за себя!) должна ехать в город, а трамваи набиты. И вообще! Я не хотела ехать в город. И вполне могла остаться. Но когда мама, накричавшись на тётю Олю, спросила меня: «Ты остаёшься или со мной?!» — я поняла, что остаться невозможно. Никак нельзя. Потому что это будет как бы предательство. Предательство — это плохо даже не потому, что ты кого-то предаёшь. Не из-за этого кого-то. А потому что предаёшь-то именно ты! Ну и особенно нельзя, конечно же, предавать маму. Даже двоюродного брата не всегда хочется предавать. Было бы прекрасно, если бы он обиделся — и уехал куда-нибудь далеко-далеко и больше никогда не возвращался! Но он уедет, как же,

жди! Я бы ради того, чтобы он сгинул куда-нибудь, его бы, пожалуй, предала. А маму я никак не могу предать, даже если ради этого не-предавания мамы придётся умереть! Так что уехать с ней от бабушки с дедушкой вовсе нетрудно. Хотя, конечно, очень хотелось остаться. Сидеть во дворе, гулять по переулкам, кататься на велике. И вечером напроситься со старшим родным братом в пионерлагерь, в кино — он бы взял! Мой родной старший брат никогда и ни в чём мне не отказывает — ни в мороженом, ни в газировке, ни в кино в пионерлагере. Я бы сделала вид, что уснула. Он бы сделал вид, что поверил, и, закинув меня к себе на плечо, так бы и нёс домой аж через Офицерскую, куда бы провожал свою очередную подружку. Подслушивать с плеча старшего брата то, о чём он болтает со своей очередной подружкой, гораздо интереснее, чем ехать с мамой в набитом трамвае и потом торчать весь вечер на подоконнике, потому что в городе летом на улице неинтересно. Но не поддержать маму нельзя! Она же мама! Не поддержать маму — это и есть предать маму. Старший брат сказал ей: «Оставь её здесь!» — «Пусть остаётся, если захочет! Я никого не заставляю!» — процедила в ответ мама. И я поняла, что мой родной брат в чём-то прав, но этой своей правотой он маму предаёт. Если и я её предам, то ей совсем будет тошно ехать одной в набитом трамвае. А так ей не слишком обидно про тётю Олю и всё остальное, потому что я рядом. Я всегда на стороне мамы, даже когда она не права. Я, конечно же, не бог весть кто, чтобы рассуждать о том, когда мама права, а когда — нет. Но я помалкиваю — и, значит, не рассуждаю. Потому что рассуждать — это вслух. А думать — это про себя. Про себя никто не слышит, по форме — я с мамой. Форма — это немаловажно, как я уже подумала. Форма позволяет человеку быть в форме. Форма — она чтобы не расклеиться окончательно. Форма сути не помеха, вот что! Жаль только, что мама вынула из моего кармашка смолу и выкинула. Когда слёзы кто-то проглотил — это одно. А когда вот так выкинул в пыль, на дорогу... Смола — это же слёзы. Вишнёвые слёзы.

Трамваев всё нет. Так всегда. Когда их не сильно ждёшь — они идут один за одним, полупустые и «двойные». А когда прямо

вот «вынь да положь!» — только изредка. Набитые и «одинарные». Мама сердится. Я очень расстраиваюсь, когда мама сердится. Хочется сказать ей: «Мама, не сердись! Давай вместе есть вишнёвую смолу! Наедемся смолы и пойдём обратно, к бабушке и дедушке! Тётя Оля уже наверняка сама расстроилась, что вы поругались. И даже поплакала — я её отлично знаю, эту тётю Олю! И когда мы вдруг вернёмся, она обрадуется как бешеная, и заварит чай, и вы будете вместе под бабушкины пироги весь вечер разговаривать на веранде и даже сплетничать! Ну какая разница, кому дедушка подарил часы на двадцать пять лет, а кому — на шестнадцать? Главное же, что он вам обоим подарил! Вы обе уже давным-давно можете сами покупать себе часы! А старое пальто и новая шуба — они же не от бабушки и дедушки, а от папы и дяди Коли, мужей же вы сами выбирали, чего уж теперь... Лучше попробуй вишнёвую смолу! Ты же наверняка ела её в детстве, ты мне сама рассказывала! Только ты ела не вишнёвую, а персиковую смолу и воровала у соседней персики, потому что соседи разрешали. И запихивала себе персики под майку, а они были жутко кусачие и страшно сочные, и ты потом бежала нырять в ледяную воду, чтобы побыстрее смыть персиковую кусачесть и персиковую сочность, потому что кроме персиков тебя хотели кусать ещё и осы. Помнишь, мам? Ты помнишь, что такое смола, просто забыла, какая она вкусная!» Хочется. Очень хочется. Но почему-то не говорится. Какой-то странный ком в горле. Даже не ком. Про ком — это взрослые говорят. Какой-то странный страх в горле. И даже под коленками страх. На велосипеде с горки не так страшно. Почему? Ничего не придумывается. Как сказал бы папа: «Никаких разумных объяснений!» Неразумных, впрочем, тоже. Может, стоит просто набрать побольше воздуха и выпалить всё это: про наедемся смолы, и про пойдём пить чай, и про помнишь? Уже даже набрала полную грудь, но наткнулась взглядом на кусочки смолы, валяющиеся в пыли. Прежде торжественно-прозрачные, как бабушкина праздничная ваза тёмного стекла. Твёрдые слёзы, которые не впитываются в землю, как капли дождя, а сиротливо, изгвазданные, валяются в бурой, прибитой ливнем пыли.

— Чего вздыхаешь, как маленькая старушка?!

— Я не вздыхаю. Я выдыхаю.

Говорить про чай и смолу перехотелось. И в горле уже нет страха. Всё как всегда. Взрослые не помнят про детское. Дети — не имеют права про взрослое. Взрослые — это взрослые. Дети — это дети. И на границе их миров грозными стражами надёжно валяются выброшенные твёрдые слёзы. Слово «валяются» не так красиво. Не говоря уже о словосочетании «надёжно валяются». Такое никому не захочется цитировать при подходящем случае. Но они действительно валяются. Может, не слишком надёжно, но зато уж точно — выброшенные. Валяются... Ужасно. А что ещё можно делать в пыли? Страшно пыльная граница — её давно никто не переходил.

Мама за руку выдёргивает меня из мыслей. Пора бежать на штурм очередного трамвая. И это нам в очередной раз не удаётся.

Возвращаемся под старую вишню.

Подходит наша соседка по Сиротскому переулку:

— Ну что? Идём на Шестнадцатую? Там хоть конечная, как-нибудь влезем!

Соседке тоже нужно в город. И не потому что она там живёт — летом мы все живём тут, осенью-зимой-весной — там, хотя и ездим круглый год туда-сюда всеми этими двадцать шестыми-двадцать девятыми и восемнадцатыми трамваями. Двадцать шестыми и двадцать девятыми — по Черноморской дороге. Восемнадцатым — по Большому Фонтану. Соседке сейчас нужно даже не в город. Ей нужно на Слободку. С восемнадцатого трамвая она пересядет на двадцать восьмой, с двадцать восьмого — на пятнадцатый. И тогда только доедет до Слободки. До областной детской больницы. Я специально запоминаю номера трамваев и маршруты. Точнее, не так. Запоминаются номера. И они как-то оказываются неразрывно связанными с маршрутами или конечной целью. Ещё они, несвязанные, чем-то важны сами по себе, эти номера. Я знаю,

что от осенне-зимне-весеннего дома на десятом трамвае удобней ехать до Вокзала или до Водопроводной, чтобы пересесть на двадцать девятый или двадцать шестой. Лучше, конечно же, на двадцать шестой, потому что двадцать девятый идёт аж до Черноморки, и значит, народу в нём всегда больше, чем в двадцать шестом. На десятом удобнее, чем на третьем, потому что десятые трамваи чаще бывают «двойные». Зато на третьем можно доехать до Третьей станции Черноморской дороги — он не сворачивает направо у Кладбища. Если от конечной остановки третьего трамвая чуть-чуть пройти, то можно дойти до общаги, где иногда живёт тётя Оля. Вообще-то это здание называется «общежитие», но взрослые называют его «общага». И это название больше подходит неухоженной пятиэтажке. Потому что «общежитие» — слово уютное. Это, если разложить, — общее житие. Как у бабушки с дедушкой, тётёй Олей, дядей Колей и их сыном-дураком, моим двоюродным братом Лёшкой. Или как у нас с мамой, папой и моим родным старшим братом. А общага — она именно такая, как это неудобное неопрятное здание в пять этажей напротив такого же строения, а между ними протянуты верёвки. У тёти Оли, дяди Коли и моего двоюродного брата в этой общаге есть «семейная комната». И однажды я в этой общаге даже была. Не всё же двоюродному брату у нас ночевать! Он у нас часто ночует осенью-зимой-весной, когда тётя Оля ругается с дядей Колей, и это отвратительно! Не знаю, насколько отвратительно они ругаются именно осенью-зимой-весной, потому что летом они ругаются вполне терпимо: тётя Оля кричит, а дядя Коля всё время её успокаивает и потом идёт за цветами. А вот ночующий у нас двоюродный брат — это мерзость и пакость! Потому что нас и так в однокомнатной квартире четверо, и мы все спим в этой одной комнате, потому что другой просто-напросто нет. У меня и у моего старшего родного брата есть такие кресла, которые заодно и кровати. Называются вертолёты. Не знаю почему. Днём мы их складываем, а перед сном раскладываем. И вот когда у нас (часто!) осенью-зимой-весной ночует мой двоюродный брат, то мой родной старший брат спит на полу. Почему это мой родной старший брат из-за двоюродного

должен спать на полу? А ещё иногда этот отвратительный двоюродный брат гнусаво хнычет про то, что он хочет спать непременно на моём вертолётё. И тогда меня заставляют перебираться на вертолёт моего родного старшего брата, потому что гостям надо во всём уступать. Не знаю, почему это гостям надо во всём уступать. Не представляю даже. А если какой-нибудь гость захочет меня убить? Иногда мне кажется, что мои родители и такое гостям позволят. Так что, можно сказать, ещё пока, тьфу-тьфу-тьфу, везёт. А то двоюродный братец бывает в гостях так часто, что уже и не знает, чего бы ему ещё захотеть. Наверное, скоро будет гнусаво ныть моей маме про то, что он хочет меня потыкать ножом, которым она режет мясо на отбивные, и я не удивлюсь, если она ему позволит. «Это же твой братик! Он же у нас в гостях! Тебе что, жалко, чтобы он тебя ножом потыкал?!» А ещё мне очень противно, когда он спит на моём вертолётё. Потому что он — ссыкун (так его называет мой родной старший брат), и на мой вертолёт стелют клеёнку — такую, как стелют в детском саду тем, кто писает в постель. Стели не стели ту клеёнку, а и мой вертолёт, и вертолёт моего старшего родного брата обоссаны этим отвратительным созданием, которое я почему-то обязана любить и как брата, и как гостя, и не знаю ещё как! «А почему он не должен никого любить?» — спросила я как-то у папы, потому что маме такие вопросы лучше не задавать. «Ну... — когда папа начинает "нукать", это значит, что правды для ответа попросту нет и ему нужно время на то, чтобы придумать неправду. — Ну-у-у... — мычит папа очень похоже на "Му-у-у!", — он должен, просто он маленький и... это... Ну, он не очень умный, но он твой братик, и ты всё равно должна его любить! Ты же умная девочка!» Опять двадцать пять — умные всем подряд должны! Не хочу я двоюродного брата любить даже через «всё равно». А ещё он храпит! Как будто мало папы! «Чего он храпит, как свинья недорезанная?!» — спрашивала я у мамы. Не про папу, а про двоюродного брата. Так мама мне ответила, что, во-первых, нельзя так говорить: «Как свинья недорезанная» (хотя сама именно так говорит про то, как папа храпит), а во-вторых, у моего двоюродного брата аденоиды, — и объяснила, что это такая болячка.

Я уточнила, не умирают ли от этих аденоидов, и мама ответила, что не умирают, не переживай! Я как раз переживаю из-за того, что из-за этих аденоидов не умирают, а только храпят, как недорезанные свиньи!

Ну а вот однажды я была у тёти Оли и дяди Коли в общежитии, потому что мама и папа куда-то уехали, а у бабушки и дедушки мне зимой как-то грустно. Не знаю почему. Даже у дедушки в кабинете грустно, потому что из кабинета обычно всё зелёное, и солнечное, и радостное. Обычно — это летом, когда я у бабушки и дедушки долго живу. А зимой из кабинета всё чёрное, голое, грязное и какое-то печальное, и мне становится тоскливо просто так, не из-за чего, и хочется плакать, а когда мне хочется плакать — я плачу. Так что меня взяли в ту общежитии, и мне не понравилось. Если бы там не было ещё и моего двоюродного брата — мне бы наверняка понравилось. Потому что в общежитии и тётя Оля, и дядя Коля были добрее, чем они бывают, когда мы все живём у бабушки и дедушки. Тётя Оля давала нам много-много конфет, но двоюродный брат отгрёб из моей кучи почти половину и плаксиво орал при этом: «Это моя мама! И мои конфеты! Все!» Дядя Коля подкидывал нас к потолку по очереди, но когда он подкидывал меня, то двоюродный брат толкал его и гнусаво визжал: «Это мой папа! Пусть он подкидывает только меня! Ты тут вообще всего лишь в гостях!» И ему никто не сказал, что гостям можно всё. А когда мне постелили раскладушку, он сказал, что будет спать на раскладушке. И мне пришлось спать в его кровати. Когда с его матраса сняли клеёнку, мне стало страшно жаль наши со старшим родным братом вертолётчики. Просто на них не так заметно, как на этом ужасном, всём в подтёках, матрасе. Через час он стал плакать, что на раскладушке неудобно, и нас ещё раз перекидывали. А ещё через час он стал плакать про обратное, но дядя Коля ему запретил, и двоюродный брат стал плакать ещё громче, и измазал всю подушку соплями, и тётя Оля на него накричала и нашлапала его. Но ещё через полчаса мне всё равно пришлось снова топтать в его гадкую кровать, потому что он не успокаивался и сделал вид, что задыхается. Он часто делает вид, что задыхается. Например, когда тётя Оля

в «Детском мире» на Ленина, или в Центральном универмаге на Пушкинской, или в «Золотом берегу» на Шестнадцатой говорит ему: «Нет!» — когда он хочет очередную новую игрушку. Тогда он плачет, заходится в рёве и в конце концов падает на пол — и начинает задыхаться. Мне всегда становится стыдно. А тётё Оле становится страшно — и тётя Оля тут же покупает ему новую игрушку. Правда, когда в магазины мы ходим с моей мамой и она говорит двоюродному брату: «Нет!» — он не падает на пол и не задыхается, а только плачет. А когда мы гуляем с моим родным старшим братом, то двоюродный у него ничего и не просит. Потому что однажды попробовал свой фокус с задыхательством — и получил от моего родного старшего брата крепкий подзатыльник и сразу задышал нормально. И даже плакать перестал. И шёл спокойно, как миленький! Зато как только мы пришли домой, он стал брызгать соплями, и орать, и жаловаться тётё Оле, что мой родной старший брат его бьёт, и тётя Оля пошла ругаться про это к моей маме. Хотя никто его не бил. Если бы мой родной старший брат бил нашего двоюродного — то наверняка бы убил, потому что он здоровый! А я, между прочим, никогда не ябедничаю про двоюродного брата, хотя есть за что. Но ябедничать некрасиво. Примерно так же, как предавать.

И ещё мне в общаге почти понравилось, потому что в общаге огромная кухня, на кухне — куча народу. И они все о чём-то говорят, причём такими словами, что дома ни в жизнь не выучишь! Но плохо, что там один туалет на весь этаж. И противно пахнет. И в туалете, и на кухне, и даже в «семейной комнате». Но всё можно выдержать, если бы только не двоюродный брат. Тётя Оля уезжает в общагу, когда ругается с дедушкой. Но очень скоро возвращается, потому что у дедушки с бабушкой большой светлый дом, где есть свой собственный туалет и ванная и четыре большие комнаты. И ещё у бабушки с дедушкой есть летний домик. И летний туалет и летний душ. И большой двор, где можно сушить бельё. И огород, где я сажаю редиску, а её пожирает мой отвратительный двоюродный брат, потому что редиску сажают, ещё когда мама работает в школе

и мы приезжаем к бабушке и дедушке только по выходным. Я сажаю редиску в выходные, но первая созревает когда хочет, например — в будний день. Двоюродный брат не только съедает всю первую редиску, он ещё уничтожает половину урожая, дёргая за кудрявые хвостики ту редиску, что «будет и будет». Это он так проверяет, не созрела ли. Иногда мне кажется, что не такой уж он и любитель редиски — просто ему хочется мне досадить. Кажется, что его родили именно чтобы мне досаждать! Но, с другой стороны, он на три месяца меня старше. И значит, его не могли родить специально для этого. Родить, может, специально для этого и не могли. Но вот то, что цель его никчемной жизни — досаждать мне, — это точно. Точнее не бывает! Он — ужасное создание. Глупое, бестактное, бесцеремонное и неуместное! Самый отвратительный мальчик в районе и, волею судеб, — мой двоюродный брат. Всегда, сколько себя помню, всё лето отравлено им! Слава богу, хоть осенью, зимой и весной я вижу его всё-таки намного реже. Хотя и это «реже» тоже сильно портит жизнь. К тому же моими игрушками можно играть нам обоим — и он всё ломает. А его игрушками играет только он, а если у него хоть что-то попросить, хоть один-единственный кубичек, хоть малюсенькую детальку от конструктора, — он воеет, как пожарная сирена. Хотя я никогда ничего не ломаю и всегда всё возвращаю. Не знаю, за что двоюродный брат меня так ненавидит. За то, что у меня нет аденоидов, я умею читать и дедушка разрешает мне бывать у него в кабинете? Или просто потому, что он всех ненавидит просто так, ни за что? И ещё не знаю, почему он должен называться моим братом, пусть даже и двоюродным. Неужели только потому, что его родила тётя Оля, которая мамина сестра? Но это же чистая случайность! Такая гадость могла родиться у кого угодно! Конечно же, все свои мысли по этому поводу я никому не рассказываю — ни маме, ни папе, ни бабушке, ни дедушке. И уж тем более — тёте Оле и дяде Коле. Иногда я частично рассказываю свои мысли родному старшему брату. Но он смеётся и говорит: «Наплюй! Вырастешь — и будешь жить как хочешь!» Когда это ещё будет-то?! И доживу ли я до этого «вырастешь»?

И наплевать я не могу, потому что плевать — это некрасиво и противно. Плевать — это двоюродный брат большой умелец. От его плевков потом трёшься-трёшься — и всё равно кажется, что не отмылся. Наверное, я всё-таки очень плохая девочка. Временами. И не только двоюродный брат меня ненавидит. Но и я его ненавижу. Но я ненавижу его в ответ, и вообще, он первый начал. Если бы он меня любил, я бы его тоже любила, несмотря на то что он писается, плюётся, храпит, не делится игрушками, отбирает мои и не умеет читать. Да ну его! Сейчас-то его нет. Кстати, довольно часто я уезжаю от бабушки и дедушки с удовольствием. Потому что, уезжая от бабушки и дедушки, с прекрасного двора и чудесных летних переулков, я уезжаю и от мерзкого двоюродного брата. Взрослые не понимают. И каждый раз говорят: «Как это здорово — брат-ровесник! Всегда есть с кем играть! Как жаль, что мы уезжаем! Дома тебе будет не с кем играть!» Они не представляют, какое это счастье — не с кем играть! Правда, они всегда портят предвкушение этого счастья, добавляя: «Не переживай! Он скоро к нам приедет!» Только из-за этого и переживаю, собственно! И ещё из-за того, какое же это горе — такой брат-ровесник. Уж лучше никакого.

Мы — я, мама и тётя Лена — всё-таки идём на конечную остановку восемнадцатого, и тётя Лена переваливается с ноги на ногу, как гусь. У неё большой живот. Ей надо в детскую областную больницу, потому что её тринадцатилетнего сына опять госпитализировали. Взрослые произносят это таинственное слово «госпитализировали» с опаской и шёпотом. А потом, многозначительно помолчав, припечатывают: «Лейкоз!» Как окончательное «нет!» про двадцатое на сегодня «можно ещё мороженого?».

Тринадцатилетний Серёжка кажется из-за этого «Лейкоз!» ужасно значительным. Он и до того, как я узнала, что у него этот таинственный лейкоз, казался мне ужасно значительным. Мы подружились, когда мне было всего пять, а ему — уже двенадцать!

Познакомились и стали дружить. Он никогда не смеялся надо мною и не заставлял читать передовицы. И не делал пакости, как мой двоюродный брат. Серёжка умный и добрый! Его вывозили в кресле в тень винограда, и я приходила к нему играть. Потому что с ним, соседом Серёжкой, играть было куда лучше, чем с собственным двоюродным братом. Мы с Серёжкой играли в шахматы, и в шашки, и в карты, и ещё он мне читал странные книги на непонятном языке. Особенно он любил мне читать вот это: «Ван синг ваз сётн, дач зе вайт киттен хэд хэд насинг ту ду вит ит: ит ваз зе блэк киттенз фолт ентаиэли», а потом говорил, что это про то, что несомненно было одно: а именно, что Снежинка здесь ни при чём и виновата во всём исключительно Клякса. И ещё говорил, что это про какую-то Алису из Зазеркалья и что я очень на неё похожа. Я даже сердилась на него, потому что я ни на кого не похожа, но Серёжкина мама, тётя Лена, сказала, что на эту Алису не стыдно быть похожей, и что редкие девочки на неё похожи, и ничего стыдного тут нет, похожестью на эту Алису надо гордиться. И подарила мне книгу про эту Алису. Хорошо, не ту, что Серёжка мне читал, а другую — на языке, который я умею и читать, и понимать. И с картинками про кроликов в шляпе, про птиц во фраках, про ворон с ружьями, про говорящих гусениц, курящих кальян, про сумасшедшего шляпника, очумелого зайца и Садовую Соню. Садовую Соню было жалко почему-то. А герцогиню и тритона в ливрее — нисколечко. Я читала Серёжке свою Алису, а он мне — свою. И я с ним выучила много-много новых слов совсем другого языка — английского! Книжки на этом иностранном языке — английском — кто-то присылал ему откуда-то издалека. Но Серёжка не говорил, кто и откуда. Только иногда таинственно добавлял, что, наверное, будет жить в Америке. Я знала, что Америка есть, потому что у дедушки есть книга «Там, за рекою, — Аргентина». Это про то, как два дядьки целых два года путешествовали по Южной Америке. И в той книге тоже есть картинки. В виде фотографий. Пиранья, например. Или вот, переправа через Рио-Колорадо. Или в горах — про Рио-Тесто. Я Серёжке принесла эту книгу. Дедушка разрешил. Сказал, что Серёжке — можно. Хотя

обычно дедушка никому и никогда книг не даёт. И даже мне разрешает читать только у него в кабинете. Серёжка книгу прочитал за два дня. Я так быстро не могу! Прочитал — и попросил ещё, если есть, про путешествия. И дедушка ему сам отнёс целую стопку! Похожих на «Там, за рекою, — Аргентина». И Серёжка их прочитал за неделю! Когда я научусь так же быстро читать — это будет прекрасно! Но у Серёжки и нет других дел-то. На велосипеде он не катается, на море не ходит, в кино в пионерлагерь по вечерам — тоже. Сиди себе, читай! Здорово! Я попробовала как-то раз рядом с ним читать — целых два часа выдержала, а больше не смогла. Про два часа я знаю, потому что я Серёжку спросила: «Сколько времени я читала?» И он ответил: «Целых два часа! Для такой маленькой девочки, как ты, — это рекорд, заслуживающий уважения!» И пересказать не попросил, как просил папа, когда я подолгу рядом с ним читала. По-моему, Серёжка мне верил больше, чем папа. Это, кстати, очень обидно, когда тебе не доверяют. Я же не мой двоюродный братец, чтобы два часа *гелать виг*, что я читаю. К тому же даже делать вид мой двоюродный брат может максимум пару минут — на большее его не хватает. Взрослые говорят, что он — «непоседа», а я считаю, что он просто-напросто очень плохой и злой мальчишка, и его плохость и злость красивым словом «непоседа» никак не прикрыть. Если бы ещё взрослые знали, что он нам с Серёжкой через забор показывает!.. Хорошо, что тётя Лена его не пускает с Серёжкой играть. Тёте Оле она сказала, что это из-за того, что у моего двоюродного брата кроме аденоидов ещё и частые простуды. (Хотя «простуды» — это слишком красиво для моего двоюродного брата, потому что у него просто постоянно текут из носа зелёные сопли, а он даже сморкаться не умеет и глотает сопли, а когда ему нужно делать какое-то промывание, то вой стоит «на всю Ивановскую», как говорит бабушка.) И эти зелёные сопли, которые тётя Лена назвала красивым словом «простуды», почему-то очень вредны для Серёжки. По-моему, тётя Лена просто не любит моего двоюродного брата, вот и придумала про то, что Серёжке вредны эти его «простуды». Мне-то они не вредны! Я рядом с этой зелёной

соплёй живу. И хотя удовольствия от этого не получаю, но и вреда мне эти сопли никакого не приносят. Но тётя Лена моему двоюродному брату не сестра и не тётя — и потому вольна его к себе не пускать. Чему я, признаться честно, очень рада! С Серёжкой мне хорошо. Мы с ним говорим про всё и — в том числе — про Америку. Даже про Америки. Потому что Серёжка сказал, что Южная Америка — это замечательно! И он обязательно по ней попутешествует. Но жить он будет в Америке Северной. Потому что это самая прекрасная на свете страна, и он скоро туда уедет. То есть — улетит. Потому что до Америки доехать нельзя.

Серёжка, наверное, немного выдумывал. Потому что все мы выдумываем. Из моих знакомых никто в Америке не был. Ни в Южной, ни в Северной. Я дедушку спросила: можно ли мне улететь в Америку? И почему Серёжка говорит, что Северная Америка — самая прекрасная на свете страна, когда всем известно, что самая прекрасная страна на свете — наша! Дедушка как-то странно на меня посмотрел и сказал, что Северная Америка — это континент, а не страна. И это действительно прекрасный континент. А стран там несколько, и не все они одинаково прекрасны, хотя любая из них гораздо лучше, чем... Тут дедушка замолчал и сказал мне, чтобы я не болтала лишнего, хотя он такое мне никогда не говорит. Я даже раздумывала, не обидеться ли мне для остротки, но пока я раздумывала, дедушка сказал, что из Америки не возвращаются. И мне стало страшно, и я перехотела в Америку. И после Серёжку предупредила, что из Америки не возвращаются, и может, не надо, чтобы он в Америку уезжал-улетал? Серёжка улыбнулся и сказал, что он меня туда вызовет. И показал мне письмо, написанное отвратительным почерком — таким, как у моего дедушки, — на том самом, английском, языке. «Это ОН специально мне на английском пишет, чтобы я учился! — гордо сказал Серёжка. — Никому про НЕГО не говори! Я только тебе по большому секрету!» Кто «ОН» и про кого «НЕГО» — я не стала уточнять ни тогда, ни потом. Во-первых, страшно — потому что этот «ОН» из Америки, откуда не возвращаются. Во-вторых, из-за того, что Серёжка говорил это своё «ОН» так, как будто я знала

и понимала, кто такой этот «ОН». И я делала вид, что знаю и понимаю, кто такой этот «ОН», чтобы не расстраивать Серёжку. Ну и чтобы казаться умнее, чем я есть на самом деле. Как минимум — сообразительней. И ещё раз — чтобы не расстраивать. Впрочем, было трудно вообразить, что Серёжку может что-то расстроить — такой он был спокойный и уравновешенный. Серёжка ещё несколько раз читал мне письма от «НЕГО» на очень малопонятном мне английском языке — я угадывала только отдельные слова. Простые, такие как *хэллоу* и *сан*. *Хэллоу* — это по-английски «Здравствуй!», а *сан* — это солнце. Непонятно было, зачем здороваться с солнцем и спрашивать у него «хау ар ю?». Я спросила об этом как-то у Серёжки, а он только рассмеялся — но не как взрослые, хотя ему тогда было уже двенадцать. Без вот этого их, взрослого: мол, ха-ха-ха, какая же ты смешная в своей несообразительности! Серёжка рассмеялся как-то... Как иногда смеются совсем-совсем взрослые — старики. И то — не все. Некоторые старики смеются правильно, так и быть, буду справедливой и логичной — то есть последовательной (последовательность — это ещё одно проявление логики, это мне Серёжка сказал). Вот Серёжка так и рассмеялся, как некоторые правильные старики, и сказал мне: «А давай будем здороваться с солнцем! Каждый день! Каждый день, пока мы ещё можем здороваться... — здесь он чуть загрустил, но тут же продолжил весело: — Будем здороваться с солнцем и спрашивать, как у него дела. Может, солнцу обидно, что никто с ним не здоровается и не интересуется его делами». И мы с Серёжкой стали здороваться с солнцем. Тётя Лена каждое утро вывозила его в тень винограда, а я прибежала к нему пораньше, ещё не почистив зубы, и мы с ним, глядя на небо, говорили: «Хэллоу, сан! Хау ар ю?!» Говорили и тогда, когда солнца не было видно. Серёжка сказал, что солнце есть всегда, хоть бы оно и за тучами.

Не знаю, что это были за письма. Возможно, он писал их сам себе для значительности. Хотя он и так был значительнее некуда. Взрослее меня больше чем в два раза, потому что пять — это в два раза и ещё в чуть-чуть меньше двенадцати. Никогда не бегал, не прыгал, не ездил на велике, как все двенадцатилетние мальчишки. Только

Содержание

Вишнёвая смола	5
Мотоцикл	91
Предательство	125
Квартирный вопрос	171

Литературно-художественное издание

16+

Татьяна Юрьевна Соломатина

Вишнёвая смола

Полудетский роман

Ответственный редактор *Марина Железнякова*
Технический редактор *Галина Логвинова*

Формат 70×100/16. Бумага офсетная
Тираж 3000 экз.

Сайт издательства: www.phoenixrostov.ru
Интернет-магазин: www.phoenixbooks.ru

Импортер на территории ЕАЭС: ООО «Феникс».
Юр. и факт. адрес: 344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150
Тел/факс: (863) 261-89-65, 261-89-50

Изготовлено в Турции. Дата изготовления: 08.2021. Срок годности не ограничен.

Изготовитель: «Билнет Матбаацилик Ве Яиницилик А.С.»
(BILNET MATBAACILIK VE YAYINCILIK A.Ş)
Адрес: Дудулла Орг. Сан. Болг. 1 кад: 16,
Есенкент Умранье, Стамбул, Турция, 34776
(Adres: Dudullu Org. San. Bölğ. 1 cad: 16,
Esenkent Ümraniye, Стамбул, Турция, 34776)
по заказу и под контролем ООО «Феникс»